

– А все-таки мозги у вас, Осип Эмильевич, еврейские, – посетовал как-то, говоря с Мандельштамом, Сергей Клычков.

Тот не стал спорить, но заметил, что стихи у него русские. С чем его собеседник с радостью согласился.

Один мой знакомый писатель, помнится, спросил у иудейского ортодокса, что он думает о Мандельштаме. «Он был плохим евреем», – ответил ортодокс. Что это значит? По-видимому, то, что поэт-мученик был христианином, причем уникальным, единственным в своем роде. Христианином и русским поэтом.

Он пил *холодный горный воздух христианства*, еще не расколотого на конфессии – первохристианский воздух будущего, для которого, по его словам, и пишет поэт. Но уместнее в этом случае говорить не столько о будущем, которое, не успев стать настоящим, становится прошлым, сколько о *новом*. Новом в ново-заветном смысле: новом небе и новой земле.

Поэзия, по Мандельштаму, «наступающие губы»: поход и прорыв в то измерение, где

*Воздушно-каменный театр времен растущих
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех –
Рожденных, гибельных и смерти не имущих.*

Здесь театр – то же самое «радостное богообщение, как бы игра Отца с детьми», которое по Мандельштаму и есть христианское, сиречь подлинно свободное искусство («Пушкин и Скрябин»). Это именно «театр времен растущих», «воздушно-каменный», небесно-земной, сочетающий две природы. Сама поэтика отсылает здесь к халкидонскому догмату.

Воздух и камень соединились в одно целое – в театр, религиозный в своем истоке и по своему изначальному замыслу «синтез искусств», который не перестает быть при этом воздухом и камнем – двумя наиважнейшими для Мандельштама библейскими категориями. И этот «воздушно-каменный театр», создаваемый «как бы игрой» Духа («воздух») на «камне» (вспомним обетование Петру) и из «живых камней», есть по сути Церковь: «зернохранилища вселенского добра и риги Нового Завета», тот же «свет в круглой храмине под куполом в июле», где «все причащаются, играют и поют». Это и зрелище, и виденье, оно же и видение, сверхвиденье – созерцание человеческой истории через ее преломление в культуре как ее истории, духовной сердцевине.

Истории, понимаемой как трагедия в ее первоначальном понимании как религиозного по своей сути действия, приобщающего к божественному бытию. Таким образом, это и богослужение, которое тоже может быть названо «как бы игрой Отца с детьми» (именно *как бы*), и «театр военных действий»: трагедия человеческой свободы, по завершении которой будет дано «всем увидеть всех».

«Воздушно-каменный театр времен растущих» Мандельштама и есть его «раздвижной и прижизненный дом». Дом «здесь, на земле, а не на небе», и такое ощущение тоже свойственно первохристианскому опыту

Царства как реальности, данной здесь и сейчас. Не языческое «бессмертие души», а действительность Воскресения, переживаемая как радость, делающая возможной *игру* как внутри тебя (а ты сам прежде всего и есть Церковь – «Царствие Божие внутри вас есть») так и вовне – в этом обстоящем тебя «театре».

Одновременно иудей, эллин и христианин, Мандельштам воспринимает христианство не как католицизм, православие и протестантизм, которым – всем трем – симпатизирует, но как «неисчерпаемое веселье». Этой радости мы и обязаны уникальности мандельштамовской поэзии и судьбы. И та и другая следуют с неизбежностью из убеждения в том, что историческому небытию можно противостоять, лишь встав на путь «свободного подражания Христу» как «вечного возвращения к единственному творческому акту, положившему начало нашей исторической эре» («Пушкин и Скрябин»).

Но этот «акт» – распятие, и значит «подражание» не может не быть в конечном счете сораспятием. И неслучайно «Пушкин и Скрябин» начинается именно с характеристики смерти художника как его наивысшего творческого акта. Таким образом, «игра Отца с детьми» – это крестный путь, тем более неизбежный в эпоху, когда антиисторические силы крушат *хрупкий позвоночник христианского летоисчисления*.

Стихи о «кремлевском горце» Пастернак воспринял как безумие и самоубийство, и с точки зрения человеческой он совершенно прав. Но человеческая логика зачастую только логика инстинкта самосохранения. По логике Мандельштама, безумием и самоубийством было не совершить этого безумия и самоубийства. Подписать себе смертный приговор было, по-видимому, единственной возможностью глотнуть «ворованный воздух», отказаться от которого означало впасть в иудин грех «разрешенной литературы».

Деля *всю* мировую литературу на «мразь» и «ворованный воздух», Мандельштам отделяет зерна от плевел как ангел при последней жатве. Ангел, как известно, вестник, каковым и сознавал себя Мандельштам: «не бумажные дести, а вести спасают людей». А если так, то каждый пишущий поставлен перед выбором между культурой как «свободным подражанием Христу» и тем или иным отрицанием, уходом от этого «подражания». Поэтому сказать, что «разрешенная литература» – это повторение *уже решенной* кем-то художественной задачи, еще не сказать всего. Речь ведь идет не только и не столько о художественных задачах, сколько о сверхзадаче жизнетворчества (творчества как жизни и жизни как творчества):

*И бороться за воздух прожиточный –
Это слава другим не в пример.*

Именно наличие или отсутствие *такой* борьбы и отличает одну литературу от другой, особенно когда воздух очевидным образом отнят. И отнят не только у поэта – отнят у всех:

*Из густо отработанных кино,
Убитые, как после хлороформа,
Выходят толпы. До чего они венозны,
И до чего им нужен кислород!*

Кислород этот может быть только украден, но у кого? Разумеется, у князя воздушного, представленного земными инстанциями и персоналиями. И потому-то это и слава другим не в пример, что вести такую борьбу означает не только «изменить что-то в самой структуре русской поэзии», но и в структуре «мира сего». Решить задачу, превышающую человеческие силы, так как литература, «на-писанная без разрешения», вообще не пишется («я ничего не пишу», заявляет он в «Четвертой прозе») – она записывается как свидетельство, необходимое как воздух и сама является воздухом. Тем воздухом, которым каждый задыхающийся ученик – ученик Того, Кто задыхался на кресте и умер от разрыва сердца – дышит «в весельи и тайне».